**Эликсир преподобного отца Гоше**

Альфонс Доде

— Отведайте-ка вот этого, сосед, а потом посмотрим, что вы скажете.

И с той же кропотливой тщательностью, с какой шлифовальщик отсчитывает каждую бусину, гравесонский кюре накапал мне на донышко золотисто-зеленой, жгучей, искристой, чудесной жидкости. Все внутри у меня точно солнцем опалило.

— Это настойка отца Гоше, радость и благополучие нашего Прованса, — сказал с торжествующим видом почтенный пастырь, — ее приготовляют в монастыре премонстрантов, в двух лье от вашей мельницы... Не правда ли, куда лучше всех шартрезов на свете? А если бы вы знали, до чего интересна история этого эликсира! Вот послушайте...

И в простоте душевной, не видя в том ничего дурного, тут же у себя в церковном домике, в столовой, такой светлой и мирной, с картинками, изображающими крестный путь, с белыми занавесочками, накрахмаленными как стихарь, аббат рассказал мне забавную историю, немножко вольнодумную и непочтительную, вроде сказок Эразма или Ассуси.

Двадцать лет тому назад премонстранты, или, вернее, белые отцы, как прозвали их у нас в Провансе, впали в великую нужду. Если бы вы посмотрели, в какой они тогда жили обители, у вас бы сжалось сердце.

Большая стена, башня святого Пахомия разваливались. Колонки каменной ограды вокруг поросшей травою обители дали трещины, каменные святые в нишах свалились. Ни одного целого окна, ни одной исправной двери. На монастырском дворе, в часовнях гулял ронский ветер, словно на Камарге, задувал свечи, ломал оконные переплеты, выплескивал святую воду из кропильницы. Но всего печальнее была монастырская колокольня, безмолвная, как опустевшая голубятня; отцы, не имея денег на колокол, сзывали к заутрене трещотками из миндального дерева!..

Бедные белые отцы! Я как сейчас вижу их во время крестного хода в праздник тела Господня: вот они идут рядами, грустные, в заплатанных капюшонах, бледные, отощавшие, ведь питались-то они только лимонами да арбузами, а позади всех — настоятель, понуря голову, совестясь показаться при свете дня с посохом, с которого слезла позолота, и в белой шерстяной митре, изъеденной молью. Монахини плакали, идя в процессии, а дюжие хоругвеносцы хихикали, указывая на бедных монахов:

— Скворцам никогда не наклеваться досыта, раз они стаями летают.

Так или иначе, но бедные белые отцы дошли до того, что подумывали уже, не лучше ли им разлететься по всему свету и каждому искать самому себе пропитание.

И вот однажды, когда этот важный вопрос обсуждался капитулом, настоятелю доложили, что брат Гоше просит выслушать его... Сообщу вам для сведения, что этот самый брат Гоше был в обители пастухом, то есть целыми днями слонялся под монастырскими арками и гонял двух тощих коров, которые щипали траву в щелях между плитами. До двенадцати лет его растила сумасшедшая старуха из Бо, по имени тетка Бегон, затем его подобрали монахи, и несчастный пастух так за всю свою жизнь ничему и не выучился, разве что пасти своих коров да читать «Патер ностер», да и то на провансальском наречии, потому что соображал он туго и умом не вышел. Впрочем, христианин был он ревностный, хотя и мечтатель, власяницу носил исправно и бичевал себя со всей силой убеждения и рук!..

Когда этот бесхитростный простак вошел в залу, где заседал капитул, и поклонился собранию, отставив ногу, все — и настоятель, и каноники, и казначей — покатились со смеху. Стоило ему только появиться, и всюду его добродушная физиономия с козлиной седеющей бородкой и какими-то чудными глазами производила одно и то же впечатление, поэтому брат Гоше нисколько не смутился.

— Досточтимые отцы, — сказал он добродушным тоном, перебирая четки из маслинных косточек, — правду говорят люди, что пустая бочка гульче всех звенит. Представьте себе: ломал я свою голову на все лады — а она и без того негодная, — и вот, кажется, нашел средство всех нас выручить из беды.

И вот как. Все вы помните тетку Бегон, ту добрую женщину, что кормила меня, пока я был мал. (Царство ей небесное! Она, старая стерва, бывало, как подвыпьет, уж очень срамные песни пела.) Так вот скажу вам, досточтимые отцы, что тетка Бегон, когда в живых была, знала толк в горных травах не хуже, а может, и лучше, чем старый корсиканский дрозд. Вот она и составила перед смертью замечательную настойку, смешав пять или шесть лекарственных трав, которые мы с ней вместе собирали на отрогах Альп. Тому уже много лет, но думаю, что с помощью святого Августина и с соизволения отца настоятеля я, поразмыслив хорошенько, пожалуй, вспомню, как составить эту чудодейственную настойку. Тогда останется только разлить ее по бутылкам и продавать подороже, от этого община наша помаленьку разбогатеет, как было с братьями траппистами и картезианцами...

Ему не дали договорить. Настоятель встал и бросился ему на шею. Каноники жали ему руки. Казначей, растроганный больше всех, почтительно облобызал обтрепанный край его рясы... затем каждый сел на свое место, чтобы все обсудить. И на том же собрании капитул порешил поручить коров брату Фрасибулу, а брату Гоше дать возможность целиком посвятить себя изготовлению настойки.

Как достойному брату удалось вспомнить состав настойки тетки Бегон, ценою каких усилий? Ценою скольких бессонных ночей? Об этом история умалчивает. Достоверно одно: через полгода настойка белых отцов была уже в большом ходу. Во всей Арльской округе, во всей области не существовало фермы, где бы в кладовой или в чулане не была припрятана среди бутылок с вином и кувшинов с зелеными маслинами коричневая глиняная фляга, запечатанная печатью с гербом Прованса, с изображением на серебряной этикетке монаха в молитвенном экстазе. Благодаря спросу на настойку монастырь премонстрантов быстро разбогател. Снова возвели башню святого Пахомия. Настоятель приобрел новую митру, церковь украсилась витражами, а в одно прекрасное утро на Пасхе со стройной кружевной колокольни вдруг зазвонила и заблаговестила во весь голос целая компания колоколов и колокольчиков.

О брате же Гоше, об этом простоватом послушнике, неотесанность которого так смешила весь капитул, больше в обители не было и речи. Отныне знали только его преподобие отца Гоше, человека великого ума и большой учености; его совершенно не касались мелкие и столь разнообразные монастырские дела; он весь день проводил, запершись у себя на винокурне, а тридцать монахов в это время бродили по горам, собирая для него пахучие травы... Винокурня, куда ход был всем заказан, даже настоятелю, помещалась в старой заброшенной часовне, в самом конце монастырского сада. Честные отцы в простоте душевной окружили ее таинственностью и страхом, а когда какому-нибудь молодому монашку, осмелевшему от любопытства, случалось, цепляясь за дикий виноград, вскарабкаться до окошка над порталом, он тут же в испуге скатывался вниз, узрев отца Гоше с длинной, как у чародея, бородой, склонившегося над горнами с ареометром в руке; а вокруг все заставлено было розовыми фаянсовыми ретортами, огромными перегонными кубами, стеклянными змеевиками, причудливо нагроможденными и пылавшими в волшебном красном отблеске цветных стекол.

В сумерки, когда звонили к последнему «Ангелусу», дверь этого таинственного места тихонько приотворялась и его преподобие отец Гоше шел в церковь к вечерней службе. Вы бы посмотрели, как его встречали в монастыре! Братья выстраивались вдоль его пути. Шептали друг другу:

— Тсс!.. Он знает секрет!..

Казначей шел за ним следом и, склонив голову, почтительно что-то говорил ему... Обласканный отец Гоше шествовал, утирая пот, сдвинув на затылок широкополую треуголку, ореолом окружавшую его голову, с удовлетворением поглядывая на обширные дворы, обсаженные апельсиновыми деревьями, на голубые крыши с новенькими флюгерами, на благодушных монахов в новой одежде, проходивших попарно между изящными, увитыми цветами колонками сиявшей белизной обители.

«Всем этим они обязаны мне!» — думал отец Гоше, и каждый раз эта мысль вызывала в нем приступы гордыни.

Бедняга жестоко за это поплатился. Сейчас сами увидите...

Представьте себе, что как-то вечером, во время службы, он пришел в церковь в необычайном возбуждении: он раскраснелся, еле переводил дух, капюшон съехал набок, а сам он был так взволнован, что, когда брал святую воду, намочил рукава по самые локти. Сперва братия подумала, что он смущен, ибо опоздал к службе, но когда увидели, какие поклоны он отвешивает органу и хорам, вместо того чтобы поклониться алтарю, когда увидели, каким вихрем он пронесся по церкви, как он пять минут искал на клиросе свое место и как, сев на место, он начал раскачиваться то направо, то налево, улыбаясь блаженной улыбкой, по всем трем пределам пробежал гул удивления. Уткнув нос в требник, монахи перешептывались:

— Что это с отцом Гоше?.. Что это с отцом Гоше?..

Два раза настоятель в нетерпении ударил посохом по плитам, чтобы водворить тишину... На клиросе продолжали петь псалмы, но в возгласах не было благолепия.

Вдруг в самой середине «Аве верум» отец Гоше откинулся на спинку стула и во все горло запел:

Монах в белой рясе Парижу знаком

Пататен, пататон, тарабен, тарабон.

Общее смятение. Все встают. Кричат:

— Уберите его!.. Это бесноватый!

Монахи творят крестное знамение. Настоятель без устали стучит посохом... Но отец Гоше ничего не видит, ничего не слышит. Двум рослым монахам пришлось вытащить его в дверку на клиросе, а он отбивался словно одержимый и знай себе горланил: «та-ра-ра» и «тра-ра-ра».

На следующий день, чуть забрезжил свет, бедняга уже стоял на коленях в молельне настоятеля и, обливаясь слезами, каялся.

— Это все настойка, ваше высокопреосвященство, настойка меня попутала, — твердил он, бия себя в грудь.

И, видя, как он сокрушается, как раскаивается, добрый настоятель и сам разволновался:

— Успокойтесь, успокойтесь, отец Гоше, все испарится, как роса на солнце... В конце концов соблазн был не так велик, как вы думаете. Песенка, правда, была немного... гм! гм!.. Будем надеяться, что послушники не расслышали... А теперь расскажите-ка мне, как это с вами приключилось... Вы, верно, отведали настойки? А своя рука — владыка... Да, да, понимаю. То же, что с братом Шварцем, изобретателем пороха: вы пали жертвой собственного изобретения. Скажите-ка мне, голубчик, обязательно самому нужно пробовать эту ужасную настойку?

— К сожалению, да, ваше высокопреосвященство... Ареометром можно определить крепость и градус; но чтобы придать напитку окончательный вкус, бархатистость, я доверяю только собственному языку...

— Так, так... Теперь послушайте, что я вам скажу... Когда вы по необходимости пробуете настойку, она вам приятна? Испытываете вы удовольствие?

— Увы, да, ваше высокопреосвященство, — пробормотал несчастный монах, густо покраснев. — Последние два вечера, когда пробую настойку, я вдыхаю такой букет, такой аромат!.. Верно, это нечистый меня попутал... И отныне я твердо решил прибегать только к ареометру. Что делать, пускай ликер не будет так вкусен, пускай не будет так густ...

— Боже вас упаси, — поспешно перебил настоятель. — Этак, чего доброго, покупатели будут недовольны... Вам только нужно быть настороже, раз вы уже предупреждены... Скажите, сколько вам нужно, чтобы распробовать? Капель пятнадцать, двадцать, так? Положим, двадцать капель... Бес должен быть очень лукавым, чтобы одолеть вас при помощи двадцати капель... Впрочем, я разрешаю вам не ходить в церковь, а то как бы опять не вышло соблазна... Вечернюю молитву вы можете читать в своей винокурне... А теперь, ваше преподобие, ступайте с миром и, главное... не сбейтесь со счета капель.

Увы! Хоть его преподобие и вел счет каплям, дьявол крепко в него вцепился и не отпускал.

Странные молитвы пришлось услышать винокурне!

Днем еще куда ни шло. Отец Гоше был довольно спокоен: он подготовлял жаровни, реторты, тщательно разбирал травы, все травы Прованса, тонкие, серые, кружевные, насквозь пропитанные благоуханием и солнцем. Но вечером, когда травы уже настаивались и жидкость нагревалась в больших медных чанах, начиналась пытка...

— Семнадцать... восемнадцать... девятнадцать... двадцать!

Капли падали из трубы в серебряный кубок. Эти двадцать капель он проглатывал разом, почти без всякого удовольствия. Зато двадцать первая не давала ему покоя. Ох уж эта двадцать первая капля!.. Дабы не впасть в искушение, он становился на колени в самом дальнем углу лаборатории и читал молитвы. Но от не остывшей еще жидкости поднимался легкий пар, насыщенный ароматом, окутывал его и волей-неволей тянул к чанам... Ликер был чудесного золотисто-зеленого цвета... Склонившись над ним, широко раздув ноздри, отец Гоше тихонько помешивал трубкой, и в сверкающих блестках изумрудного потока ему мерещились глаза тетки Бегон. Они смотрели на него, смеясь и подмигивая.

— Ладно! Еще одну каплю!

И капля за каплей бокал несчастного монаха наполнялся до краев. Тогда он в изнеможении опускался в глубокое кресло и, разомлев, прищурясь, смаковал свой грех маленькими глоточками, повторяя про себя в сладостном раскаянии:

— Ах, я обрекаю себя на вечную муку... на вечную муку...

Но ужаснее всего было то, что, выпив эту дьявольскую настойку, на дне он находил, — уж не скажу вам, каким чудом, — все непристойные песенки тетки Бегон: «Три кумушки попировать хотели», или «Пастушка в лес пошла одна...» и каждый раз тот самый пресловутый припев белых отцов: «Пататен, пататон, тарабен, тарабон!»

Представляете себе, какой срам, когда наутро соседи по келье говорили ему с лукавым видом:

— Э-хе-хе, отец Гоше, видно, вчера вечером, когда вы спать укладывались, у вас здорово трещало в голове.

Тогда начинались слезы, отчаяние, и пост, и власяница, и изнурение плоти. Но ничего не помогало против того дьявола, что вселился в настойку, и каждый вечер в тот же час лукавый одолевал его.

А между тем заказы благодатным дождем падали на аббатство. Они поступали из Нима, Экса, Авиньона, Марселя... С каждым днем монастырь все больше и больше начинал смахивать на фабрику. Были братья упаковщики, братья этикетчики, одни вели переписку, другие ведали отправкой; правда служба Господня иногда терпела от этого ущерб, не так ревностно звонили в колокола, зато бедный люд в нашем крае не терпел никакого ущерба, можете быть спокойны.

И вот в одно прекрасное воскресное утро, в то время как казначей читал при всем капитуле годовой отчет, а почтенные монахи внимали ему с сияющими газами и улыбкой на устах, в зал заседаний ворвался отец Гоше, громко крича:

— Хватит!.. Не хочу... Отдайте мне моих коров...

— В чем дело, отец Гоше? — спросил настоятель, отчасти догадываясь, в чем тут дело.

— В чем дело, ваше высокопреосвященство? Дело в том, что я сам себе готовлю огонь вечный и вилы... Дело в том, что я пью, пью, как последний сапожник!

— Так ведь я ж вам велел вести счет каплям!

— Сказали — вести счет каплям! Теперь уже приходится вести счет стаканам!.. Да, отцы, вот до чего я дошел. Три фляги за вечер... Сами понимаете, что так продолжаться не может. Повелите составлять ликер кому вам будет угодно. Да падет на меня огонь небесный, ежели я не брошу этого дела!

Теперь капитулу было уже не до смеха.

— Но, безумный, вы пустите нас по миру! — кричал казначей, размахивая гроссбухом.

— А по-вашему, лучше, чтобы я обрек себя на вечные муки?

Тут поднялся настоятель.

— Отцы, — сказал он, простерши свою холеную белую руку, на которой сверкал пастырский перстень, — есть средство все уладить... Возлюбленное чадо мое, когда искушает вас нечистый, по вечерам?

— Да, отец настоятель, аккурат каждый вечер... И теперь, как только стемнеет, я, с вашего позволения, обливаюсь холодным потом, как осел при виде седла.

— Ну так успокойтесь... Отныне каждую вечернюю службу мы будем читать за спасение вашей души молитву святого Августина, дающую полное отпущение грехов... Теперь, что бы ни случилось, вы будете под ее покровом... Это отпущение в тот момент, когда совершается грех.

— О, в таком случае спасибо, господин настоятель.

И без дальних слов отец Гоше легко, как жаворонок, полетел к своим перегонным кубам.

Действительно, с этого дня в конце повечерья священнослужитель возглашал:

— Еще молимся за нашего бедного отца Гоше, душу свою положившего за нашу братию. Oremus Domine!

И над белыми капюшонами, распростертыми во мраке приделов, реяла трепетная молитва, как легкий ветерок над снегом, а в дальнем углу монастыря, за пылающими витражами винокурни, слышался меж тем голос отца Гоше, певшего во всю глотку:

Монах в белой рясе Парижу знаком,

Пататен, пататон, тарабен, тарабон.

Пляшет с монашками он,

Тру-ту-ту, у них в саду

С монашками пляшет он...

Почтенный кюре вдруг в ужасе остановился:

— Господи помилуй! Что, если меня услышат прихожане!